

РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

А.В. ОБОЛОНСКИЙ

**Советский режим:
механика властвования**

Политика – расклейка этикеток,
Назначенных, чтоб утаить состав.
Но выверты мышления все те же.

М. Волошин

Знаменитый историк французской революции Ф. Олар, оказавшийся на склоне лет свидетелем революции русской, считал, что современник в принципе не может адекватно постичь смысл происходящих на его глазах исторических событий. В самом деле, скороспелые попытки объяснений по горячим следам редко бывают глубокими и точными даже в событийном плане. “Эффект участника” – отнюдь не гарантия достоверности, а “непосредственное наблюдение – почти всегда иллюзия... все увиденное состоит на добрую половину из увиденного другими” [Блок, 1973, с. 31]. А. Токвиль, исследовавший французскую революцию шесть десятилетий спустя после ее начала, писал: “Мы теперь находимся на той именно точке, с которой можно наилучшим образом видеть... и судить. Мы достаточно удалены от Революции, чтобы лишь в слабой степени ощущать те страсти, которые волновали жизнь людей, участвовавших в ней, но мы еще настолько близки к ней, что можем представить себе и понять породивший ее дух. Скоро уже будет трудно сделать это” [Токвиль, 1918, с. 14].

Для России проблема сущности и механизмов строя, существовавшего на нашей земле три четверти века, носит отнюдь не только академический характер. Отчасти поэтому я вернулся к своим текстам 1990-х и “нулевых” лет, чтобы переосмыслить их в свете нового знания и новых реалий. Я рассматривал тогда (и считаю это правильным сейчас) “ленинский” и “сталинский” периоды как две стадии единого процесса с общими глубинными социально-этическими и социально-психологическими основаниями и лишь с частично различными конкретными механизмами властвования. Поэтому их следует анализировать последовательно, в хронологическом порядке. Поскольку главным объектом этой статьи все же будет сталинизм, то все, связанное с “ленинским” периодом, излагается кратко (подробно см. [Оболонский, 2002]).

Ленинский этап социальной “вивисекции”

Первым из факторов социально-этического порядка, подталкивавших развитие событий в роковом направлении, была аномия, то есть **моральный кризис народного сознания**. Подобный нравственный вакуум возникает, когда одна система норм по тем

Оболонский Александр Валентинович – доктор юридических наук, профессор Государственного университета – Высшей школы экономики.

или иным причинам перестает выполнять роль регулятора реального поведения людей, а новая не успевает прийти ей на смену. Параллельно с ней развивается *воинствующий моральный релятивизм*, согласно которому “революционная целесообразность превыше всего”, включая и нормы человеческой морали. Лозунг этот – отнюдь не изобретение России или той эпохи. Вспомним хотя бы принципы французского якобинца: «Против изменников все дозволено и похвально. Якобинец, канонизировав свои убийства, убивает из “любви к ближнему”»; или: “Все позволено тем, кто действует в духе революции. Для республиканца нет опасности, кроме опасности плестись в хвосте законов республики”.

Легкость перехода от идеи всеобщего благоденствия к возведенной в принцип аморальности обеспечивала крайняя неразвитость индивидуалистических начал в российском национальном “генотипе”, *псевдоколлективистская этика*, которую Н. Бердяев называл “безответственным коллективизмом”, видя корень этого явления “в отрицании личной нравственной ответственности и личной нравственной дисциплины, в слабом развитии чувства долга и чувства чести”, отчего у человека “затемнено и сознание прав, и сознание обязанностей, он утопает в безответственном коллективизме” [Бердяев, 1967, с. 96]. Итоговой характеристикой революционных событий в России при проекции их на шкалу социальной этики стала *победа старого этического типа – системоцентризма, но в новой, более динамичной форме*. Он “омолодился”, заменив консервативные одежды, вывески и знамена на радикальные, но сущность осталась прежней – антиличностной. Изменилась политическая система (политический режим – меньше), но не общественная этика.

Обратимся к социально-психологическим детерминантам событий. Сначала об их “горячей” стадии. Во-первых, в предреволюционные годы резко активизировалась, а к 1917 г. достигла апогея извечная деструктивная традиция *межгруппового антагонизма, оппозиция “мы” и “они”* в ее классовой редакции. Во-вторых, в результате войны в массах значительно возрос синдром *революционного социального невротизма* с сопутствующими ему массовыми проявлениями жестокости, насилия, иррациональности, социальной безответственности. З. Фрейд считал, что в определенные периоды даже целые цивилизационные сообщества впадают в патологические невротические состояния, а Э. Фромм на примере фашистских режимов описал близкие к ним садомазохистский комплекс и синдром социальной некрофилии. В-третьих, как всегда бывает в периоды кризисов, *на авансцену выдвинулись особые, иные, чем прежде, типы людей*. На уровне лидеров любого уровня это означало торжество типа якобинца – фанатичного доктринера, лишенного каких-либо моральных запретов, и при этом обладающего искуством “оседлать толпу” через активизацию в ней разрушительных инстинктов; на уровне же массы это означало торжество бунтовских начал, разгул низменных страстей и инстинктов. Наконец, не последнюю роль сыграла слабость либеральных политиков.

На следующем этапе, когда стихия кризиса и массовое возбуждение стали выдыхаться, заработали другие закономерности, к числу которых относятся *российская авторитарная традиция и механизм психологической усталости*. Не углубляясь в данном случае в их детальное описание, обратимся к конкретным политическим механизмам, посредством которых радикалы, в первую очередь большевики, сначала “оседлали” стихию народного мятежа, направив в нужное им русло и поставив на службу собственным политическим целям, а затем обуздали ее.

1. *Демагогическая спекуляция на реальных проблемах*. Поскольку назревшие проблемы десятилетиями не решались или попросту игнорировались, то критика режима стала безотказным и весьма действенным инструментом.

2. *Использование новых символов веры*. Место целиком привязавшего себя к царизму и вместе с ним дискредитировавшего себя православия заняла новая религия – марксизм в его большевистской версии.

3. *Возведенный в принцип имморализм*. Каких-либо моральных запретов, нравственных табу для большевиков не существовало, а нравственным объявлялось все, что способствует делу революции.

4. *Направливание* “революционного народа”, то есть *толпы, на “социально чуждые элементы”* – буржуев и “интеллигентов”. Массовое насилие по весьма расширительно толкуемому классовому признаку стало одним из программных принципов власти. В качестве одного из ведущих “стимулов” оно использовало прямое подстрекательство к захвату чужой собственности, поскольку уважение к ней было крайне слабо развито в народной массе. Торжество политики под лозунгом “грабь награбленное”, помимо прочего, *подрывало в народе начала трудовой этики*, разрушало стимулы к приобретению достатка на трудовой основе.

5. *Монополизация трибуны для публичных высказываний* – жестокая цензура, конфискация типографий, массовое закрытие газет и журналов, аресты, отдавание под трибунал, высылки редакторов и сотрудников.

6. *“Двухслойность” идеологии*, то есть имманентно присущее и доктрине, и практике большевизма сосуществование в них двух принципиально различных по содержанию слоев, один из которых предназначен для внешнего, а другой – для внутреннего употребления, один – для “народа”, другой – для “своих”.

7. *Опора на деклассированные, маргинальные элементы*, к числу которых относились уголовные, разложившаяся солдатская масса, другие люмпенизированные группы, на типы, которые Бердяев вслед за Ф. Достоевским назвал “Федькой-каторжником”.

8. *Террор как принцип организации власти*. Об этой особенности режима сказано и написано больше, хотя и явно недостаточно. Многочисленные материалы свидетельствуют не только о разгуле вандализма толпы, но и о том, что власть большевиков с самого начала сознательно применяла *геноцид против собственного народа*.

9. *Опора на привилегированные военизированные спецподразделения*. В числе этих “янычар” режима были отряды ЧОН, кремлевские курсанты, “этнические” подразделения – латышские стрелки, китайские батальоны и т.д. Впрочем, очень быстро эта пестрота сменилась подразделениями чекистов; от всех прочих эти “янычары социализма” отличались одним – большей степенью управляемости “сверху”.

10. *Последующее укрощение народной стихии и манипулирование ею* посредством механизмов централизованного бюрократического правления и массовой политической партии, построенной на полувоенных началах.

Одним из первых в послереволюционной России рассыпался миф равенства. Очень быстро возникли новые привилегированные группы, так сказать, новая “элита”, причем *критерии для попадания в нее еще больше отклонялись от цивилизационных стандартов интеллектуальных и нравственных качеств, от идеалов социальной справедливости, чем при прежнем режиме*. Наступило торжество охлократии.

В сфере создания *новой государственной религии взамен прежней*, в сущности, пришлось заменить лишь одно – идеологическое – звено в триаде “православие, самодержавие, народность”. Несмотря на то, что внешне православие казалось вошедшим в плоть и кровь основной массы населения бывшей Российской империи, на деле ситуация была иной. Когда власть круто поменяла православные символы и ритуалы на атеистические, это не вызвало национальной драмы, подобной тем, которые происходили у других народов при попытках их насильственной переориентации. Конечно, некоторая часть населения проявила упорство, а в ряде случаев и героизм в защите святынь национальной веры и своего права ее исповедовать. Но другая, численно бо́льшая, часть продемонстрировала готовность всячески попирать лишившиеся государственной защиты святыни, кощунствовать, уничтожать их. Остальные отнеслись к гонениям на церковь довольно индифферентно. За долгие века своей истории официальное православие не выработало способности отстаивать религиозные убеждения в условиях гонений изнутри, в отличие от присущего россиянам умения постоять за веру перед лицом внешних врагов и иноверцев. *Ориентация на симбиоз с властью, а реально – на послушание ей, оказалась сильнее собственно религиозных традиций и чувств. Православный стереотип, как выяснилось, был не базовой структурой национального сознания, а лишь вторичным, довольно легко устранимым его элементом.*

Другой роковой по своим последствиям трагедией тех лет стала *судьба российской интеллигенции*. Известна идущая еще от “веховцев” точка зрения, согласно которой она – главный виновник всех постигших тогда страну несчастий. Лично я считаю, что если такие обвинения и уместны, то по отношению не ко всей интеллигенции, а лишь к ее радикалистскому крылу. Да, романтика бескомпромиссной борьбы с правительством долгое время была распространенным идеалом русского интеллигента, особенно молодого. Но уже с 1880–1890-х гг. пошел процесс частичного дистанцирования интеллигенции от политики, ее уход либо в “культурные скиты”, либо в сторону народнической идеологии незаметного служения. Оставшихся же в политике либералов если и можно упрекнуть, то, пожалуй, лишь в недооценке масштабов опасности или, во всяком случае, в недостаточно активном ей противодействии. Но огульно судить всю интеллигенцию или отождествлять ее идеологию с социалистической неверно как фактически, так и идеологически.

Исторический факт состоит в том, что долговременная, целенаправленная, самоотверженная деятельность одной из двух политически ангажированных частей русской интеллигенции стала одним из краеугольных камней катастрофы 1917 г. Но пламя этой катастрофы не обошло стороной и саму интеллигенцию, причинив ей неисчислимые беды. *Большевицкая власть по своему своему духу была антагонистична и этически кодексу интеллигента, и социальной роли интеллигенции как общественного слоя. Поэтому конфликт между нею и основной массой интеллигенции был имманентно присущ их отношениям.* Все вариации находятся внутри этой общей посылки. В целом интеллигентам была жестко предписана *роль ученых приказчиков власти*, которым до конца не доверяют, но по необходимости терпят. Никаких других ролей за ними не признавалось. Не случайно репрессии против нее как начались с ноября 1917 г., так в разных формах и не прекращались почти до конца режима. В традиционном российском значении этого слова она под этим режимом погибла. У остатков же ее (в подлинном и единственно адекватном, на мой взгляд смысле) хватило сил и возможностей лишь на две задачи: в сфере социальной рефлексии – на то, чтобы сберечь немногочисленные слабо мерцавшие огоньки культуры, пронести их сквозь стужу и мрак наступившей ночи и передать их следующим, более удачливым поколениям; в сфере социального действия – лишь на тот минимум, который спасает общество от необратимого нравственного одичания и умственного вырождения. И эти две скромные, но такие важные задачи как будто удалось выполнить, хотя потери были понесены чудовищные, невосполнимые.

Произошел если не полный обрыв преемственности поколений, то во всяком случае ее значительное ослабление. Преследуемая, гонимая, подавляемая физически и морально, интеллигенция стихийно, а иногда и сознательно перестала воспроизводить себя в своих биологических потомках. В результате накопленный поколениями духовный и нравственный капитал зарывался в землю вместе с его последними носителями. А для интеллигенции преемственность духа чрезвычайно важна. Известно, что в большинстве своем интеллигенты первого и даже второго поколения, вполне органично впитав целый ряд важных компонентов интеллигентского сознания, часто не слишком усваивают такие его существеннейшие черты, как установка на бескорыстное служение общественному благу, критическая неудовлетворенность *status quo* в разных областях, готовность “пострадать за правду” во имя общих интересов. Разумеется, не следует понимать это в каком-либо “кастовом” смысле. Перечисленными чертами обладают далеко не все и из потомственных интеллигентов. Иными словами, принадлежность к интеллигенции не передается по наследству автоматически. Ее трудно приобрести за одно поколение, но легко потерять даже за меньшее время. Однако и отвлекаясь от проблемы преемственности, очевидно, что при переходе от русской интеллигенции к советской произошел заметный ее регресс в нравственном отношении. Но всего тяжелее от сознания, что этот регресс был лишь одним из компонентов всеобщего нравственного регресса, произошедшего в стране после революции. Равно как и поражение интеллигенции в конфликте с режимом было трагедией не только для нее самой, но и для всей нации. Но это стало очевидно уже на следующем этапе – сталинщины.

Морально-психологические механизмы сталинщины

Как было заявлено в начале статьи, с моей точки зрения, “зрелая” стадия большевистского режима не имеет принципиальных отличий от предыдущей стадии. Можно сказать, что это была “полная фаза” все той же большевистской “луны”. Конечно, период пребывания нашего народа на самом дне исторической пропасти требует самого серьезного осмысления как в плане познавательном и даже чисто практическом, так и в плане моральном. В рамках этой статьи я поставил значительно более скромную задачу – обозначить механизмы власти и рамки существования в тот период основных социальных групп населения страны. При этом в начале каждого подраздела мне придется вновь “возвращаться” в ленинский период, что еще раз подтверждает их принципиальное единство, преемственность.

Новая “элита”: люмпены-выдвиженцы. Она стала складываться на удивление быстро, особенно если учесть, что антиэлитарные риторика и акции занимали едва ли не самое заметное место на авансцене событий и в момент Октябрьского переворота, и еще долгое время после него. Между тем уже в 1918 г. симптомы групповой самоорганизации и особого стиля поведения стремительно захватывавших верхний ярус социальной пирамиды “новых хозяев страны” стали настолько заметны, что возник даже специальный термин – “комчванство”. А всего три-четыре года спустя терявший контроль над ситуацией В. Ленин успел увидеть, как вознесенная им на социальный гребень прослойка людей с невероятной скоростью перерождается в некое подобие мафии, члены которой озабочены только собственным благополучием и карьерой. Последние письма и статьи Ленина представляются обреченной попыткой остановить кристаллизацию новой – люмпенской – элиты. Судьба жестоко отомстила ему. К середине 1920-х гг. возникновение “нового класса” фактических хозяев – распорядителей страной стало свершившимся фактом.

Правда, на первом этапе в его составе были не только беспринципные карьеристы, но и подвижники (фанатики) идеи. Хотя даже тогда это было хоть и яркое, но все же явное меньшинство, за исключением, может быть, самого высшего слоя элиты. К тому же на практике революция делалась главным образом отнюдь не руками жертвенно настроенных интеллигентов: ее моторную силу составляли люди принципиально иного психологического типа – совсем не ориентированные на какие-то абстрактные идеалы, а напротив, стремящиеся урвать от жизни максимум доступного и увидевшие в революции широчайшие возможности для этого. По мере укрепления режима и численного увеличения правящей группы удельный вес “идеалистов” в составе новой элиты и вовсе упал. Ведущие позиции захватывали различного рода приспособленцы-карьеристы. А в 1930-е гг. идейные борцы-большевики с дореволюционным стажем, как известно, подверглись жестоким массовым репрессиям и с политического горизонта, в общем, исчезли. Создатели политической гильотины сами в конечном счете оказались ее жертвами.

Этической основой такого развития событий стало торжество принципа морально-го релятивизма, вызвавшее значительную эрозию всех видов нормативного регулирования взаимного поведения людей. В российском обществе на протяжении ряда предреволюционных десятилетий накапливался разрушительный потенциал нравственной аномии, то есть безнормативности. Обычно присущий лишь люмпенизированным слоям, он постепенно, с размыванием традиционалистской морали, распространялся и на другие общественные группы и в результате стал господствующим. А при таких “правилах игры” идеалисты, даже фанатики, естественно, уступили первые роли личностям с прагматически преступными ориентациями.

Мораль новой элиты была довольно проста и функциональна, что обеспечило ее устойчивость и живучесть. Во-первых, для нее характерно практически полное *отсутствие каких-либо нравственных табу*, то есть внутренних самозапретов. Следствием этой вседозволяющей этики оказалась возведенная в норму и широко вошедшая в практику безжалостность, придавшая столь трагический облик нашей послереволюционной истории.

Во-вторых, ключевым элементом кодекса новой элиты стало *нерассуждающее повиновение сильному*, обладающему в данный момент реальной властью. Она же, как известно, все больше сосредоточивалась в руках двух политических сил – партийного аппарата и политической полиции (ГПУ-НКВД-МГБ). Простота принципа усиливалась его универсальностью: он действовал на всех этажах власти. Поэтому взбиравшийся по ступенькам советской карьерной лестницы человек уже на дальних подступах к элите вполне усваивал правила поведения и расстановку сил и без особых трудностей осваивался на более высоких иерархических этажах.

В-третьих, в морали этого слоя присутствовало *расчетливое использование идеологических клише и политической демагогии в качестве оружия* в борьбе за жизненные блага. Идеологические догмы сами по себе не играли особой роли, пока не становились выгодными и нужными. Если же они начинали мешать, то с легкостью отвергались.

Из определяющих социально-психологических параметров новой элиты следует назвать, во-первых, упрощенное, *одномерное восприятие мира*, неприятие его антиномичности, возможности существования “разных правд”; во-вторых, *отсутствие потребности в рефлексивном самоанализе*, в “самокопании”, всегда столь свойственным интеллигентам. Это были люди действия, постоянно настроенные на борьбу, причем любыми средствами. В-третьих, в том же ряду, видимо, находится введенный Фроммом при анализе психологических основ нацистского режима *некрофильский психологический тип*. Этот тип вообще всплывает в эпохи социальных катаклизмов. Применительно к рассматриваемому периоду напомним о преобладании в составе “команды сталинских соколов” людей палаческого склада.

Те, кто пробивались в ряды новой политической элиты, были не деятелями, но дельцами, которые играли в страшную игру с высочайшими ставками и по правилам, обычно более свойственным низу социальной пирамиды – преступному миру, нежели ее верхнему ярусу. И непонимание этого обстоятельства много раз подводило как внутренних, так и внешних партнеров и оппонентов режима. Последнее обстоятельство весьма наглядно видно на примере головокружительных успехов советской внешней политики в 1930–1940-е гг. Можно назвать лишь одну серьезную дипломатическую неудачу – в игре с А. Гитлером. И весьма показательно, что сталинская команда проиграла отнюдь не демократическим политикам (их-то она обставляла довольно легко), а аналогичной мафии, не связывавшей себя какими-либо традиционными “предрассудками”.

В этой группе в сталинские времена большинство составляли люди малокультурные и примитивные по общецивилизационным стандартам. Но с точки зрения достижения избранных целей они были весьма хитроумными и изворотливыми. Те же из них, кто отвечали и общепринятым критериям образованности и культуры, либо на удивление быстро ушли в мир иной (Г. Чичерин, Л. Красин, А. Луначарский), либо были оттеснены на периферию или уничтожены, либо (самый злобещий вариант) стали “преступниками-интеллектуалами”, то есть целиком подчинили свои знания и способности преступным целям правящей группировки или личным своекорыстным целям (ярчайший пример – А. Вышинский). Причем это относится как к тем “эквилибристам”, которые умудрялись встроиться в меняющуюся, но всегда “единственно верную генеральную линию”, так и к членам многочисленных оппозиций.

Еще одна особенность сталинской элиты: в отличие от элит, характерных для “нормальных” политических режимов, *она не имела стабильного состава*. В нее можно было молниеносно влететь на гребне политических интриг, момента и удачи и так же с треском вылететь, при этом оказавшись даже не в прежнем положении ничтожества, но и значительно ниже – в преисподней ГУЛАГа. А поскольку один из элементов понятия элиты – стабильность, то даже отвлекаясь от качественных характеристик и по этому формальному критерию ее можно назвать не более, чем псевдоэлитой.

Правда, в последний период диктатуры Сталина и особенно после его смерти положение постепенно изменилось: не только прекратились регулярно практиковавшиеся им избиения руководящих кадров, но напротив, верхняя властная страта создала

для себя статус неприкосновенности, неподзаконности, состав ее более или менее стабилизировался, иерархия “положенных” привилегий стала более четкой, а дети ее членов обрели ранг и самомнение “отпрысков благородных семейств”. Разумеется, качество ее от этого не улучшилось, разве что она обрела некоторую внешнюю респектабельность.

Режим мастерски активизировал и *использовал низменные человеческие качества*, а также точно нашел свою социальную базу, знал не только, на каких струнах играть, но и к кому апеллировать. Его *ударной силой стали выдвиженцы* – люди, обязанные режиму всем и потому на все готовые ради него, а вернее сказать, ради сохранения и повышения своего положения в системе. Возможности же для возвышения режим открывал головокружительные. Так что игра стоила свеч. Эмпирический анализ карьер “сталинских соколов” (эта пропагандная этикетка для выдвиженцев сталинской эры в превращенном виде отражает реальности тогдашней номенклатуры) может дать картину массового “социального десанта” на высшие общественные этажи людей, которые при любом ином режиме рассчитывать на что-либо подобное никоим образом не могли бы. Фраза Интернационала “кто был ничем, тот станет всем” реализовалась чудовищным образом. Особенно характерны в этом плане периоды массовых “чисток” и репрессий, когда в кратчайшие сроки во всех эшелонах власти “освобождалась” масса вакансий.

Конечно, было бы исторически неверно и несправедливо ставить под сомнение как саму возможность сделать в те годы карьеру честными средствами, так и существование немалого числа таких честных карьер. Однако не эти люди были “козырными картами” режима. Не на них он делал ставку. Не они получали преимущество в игре по заданным властью правилам. *Режим наибольшего благоприятствования в целом действовал отнюдь не в интересах выдвижения наиболее способных и достойных.* Атмосфера эпохи способствовала процветанию людей иного сорта.

Парадоксальный факт. В стране, где демагогическая пропаганда непрерывно муссировала миф о “государстве рабочих и крестьян” и где, казалось бы, действительно возникли очень благоприятные условия для вертикальной социальной мобильности, власть на деле оказалась отнюдь не в руках реальных представителей “господствующих классов”. Да, захватившие бразды правления на всех этажах общества по большей части происходили из былых низов, но происхождение далеко не всегда определяет тип сознания. И выдвиженцы, как правило, были носителями лишь внешних атрибутов своего рабоче-крестьянского происхождения, к числу которых относятся культурная неотесанность, демагогическая спекуляция на своем происхождении, нарочито хамский стиль поведения и лексикон – грубость и матерная брань. Не случайна также значительность роли, которую сыграл в революционном и послереволюционном большевизме “блатной фактор”.

Но более глубокие слои классового сознания, в том числе такие его положительные черты, как, скажем, солидарность с “братьями по классу”, добросовестность в своем труде и уважение к труду чужому и даже элементарная практическая смекалка, у этих пробившихся в новую элиту и превратившихся в чиновников всех разновидностей “представителей трудового народа” можно обнаружить лишь с большим трудом. Ведь для выдвижения требовались совсем иные качества. Естественный (или, вернее сказать, противоестественный) отбор шел совсем по другим параметрам. И поэтому господствующим типом выдвиженца стал люмпен, человек с деклассированным сознанием, для которого утратили силу одни нормы, а никаких новых не усвоено. При этом критерий социального происхождения здесь во многом теряет реальный смысл, ибо, в сущности, безразлично, из какого социального слоя вышел люмпен, является ли он люмпен-пролетарием, люмпен-крестьянином, люмпен-предпринимателем или люмпен-интеллигентом. Люмпен есть люмпен – человек без корней, без нравственного кодекса. Именно этот исчислявшийся несколькими миллионами и передававший эстафету своей этики новым поколениям слой и составлял основную социальную опору сталинского и послесталинского режима.

Посмотрим теперь на положение других общественных слоев.

Финал интеллигентской трагедии: трава под асфальтом. Первые узлы трагической судьбы, выпавшей на долю русской интеллигенции, завязались еще на рубеже 60-х гг. позапрошлого столетия, а кульминация трагедии пришлось на конец второго десятилетия XX в. Но эти сюжеты выходят за рамки статьи. Речь пойдет о заключительном акте трагедии, ибо происшедшее с российской интеллигенцией в сталинскую эру – по сути, лишь неизбежное следствие предшествовавшего развития событий.

Сначала о наиболее благополучной ее части. Как известно, на первых порах существования режима незначительная, но все же заметная часть интеллигенции вошла в состав властвующей элиты. Главным образом, это были, конечно, радикалы и их идейные наследники, хотя встречались и исключения. Однако тенденции развития “революционного процесса” работали против этой группы. Кое-кто прозревал и сам выходил из игры, других оттирали набиравшие силу выдвиженцы. И все же ничтожная и неуклонно сокращавшаяся часть интеллигентов еще долгое время кое-как удерживалась на периферии элиты либо на подступах к ней. Причем по мере того, как истинный облик режима становился все более отчетливым, идейных его сторонников среди них, естественно, оставалось все меньше. Но независимо от мотивов всем интеллигентам, удерживавшимся на элитной орбите, приходилось за это платить: и во имя сохранения возможностей продолжения профессиональной деятельности, и ради сохранения иллюзии активного участия в общественной жизни, и чтобы обеспечить себе доступ к мирским благам, распределение которых жестко контролировалось новыми хозяевами страны.

За все это приходилось поступаться очень многим. В жертву были принесены важнейшие атрибуты сознания и морали: роль носителя общественной совести и выразителя общей боли, сострадание народной судьбе, чувство гражданской ответственности, то есть своей моральной сопричастности происходящему в стране и в мире, “органическая неспособность подпевать могучему хору сильных мира сего” (выражение В. Шукшина), невозможность поступиться правдой ради житейских выгод, наконец, естественная, как дыхание, критическая рефлексия по широчайшему кругу вопросов. От всего этого номенклатурная (то есть узкоэлитная и околоэлитная) интеллигенция, по существу, отказалась. Достаточно вспомнить биографию “красного графа” А. Толстого.

В России, где бескорыстное выполнение функций критического разума и совести общества всегда считалось главным назначением интеллигенции, ее “крестом” (не будем входить в полемику с авторами “Вех” и другими о последствиях такой установки), этот отказ выглядел самоотречением. Справедливости ради следует сказать, что другие свои важные черты номенклатурная интеллигенция сохранила и в той мере, в какой ее не ограничивали политические обстоятельства и инстинкт самосохранения, использовала их на благо общества. Я имею в виду культуру мышления, профессиональную подготовленность, навыки продуктивной умственной работы, изобретательность в решении неординарных задач, разносторонность и даже известную терпимость к другим взглядам и мнениям. Однако представляется, что перечисленные черты при всей их важности и привлекательности все-таки не являются стержневыми для интеллигента. Впрочем, даже в таком оскопленном виде эта полностью ангажированная интеллигенция не смогла удержаться в элитной обойме и вытеснялась из нее, поскольку воинствующе-люмпенский дух времени резко противоречил любым атрибутам интеллигентского образа. В сталинские времена интеллигентов терпели лишь там и постольку, где и постольку без них невозможно было обойтись. Но какие бы удары судьбы ни постигали номенклатурных интеллигентов, с какой-то высшей точки зрения они не были абсолютно несправедливыми: их били и третировали по правилам той игры, в которую они сами вступили и в которой стремились выиграть. А главное, их тяготы и проблемы были несравнимы с трагической судьбой основной – номенклатурной – массы интеллигенции, в условиях сталинской диктатуры жившей в очень тяжелых условиях – как материальных, так и духовных. И репрессии по отношению к ней практически не прекращались.

В общем же социально-культурном плане главная трагедия состояла в том, что *были полностью перечеркнуты фундаментальные основы интеллигентского существования – возможность свободного обмена мыслями и относительная материальная независимость*. Как известно, социалистическое государство монополизировало статус работодателя. И это монопольное положение у пульта распределения средств существования беззастенчиво использовалось властью в целях принуждения и манипуляции. Начиная со сталинского периода условием получения зарплаты стала для интеллигента безусловная политическая лояльность. При этом требования к проявлениям выражения этой лояльности все повышались, а меры по отношению к не прошедшим проверочных “тестов” становились все более жесткими. Уровень же содержания интеллигентов (пожалуй, именно слово “содержание” точнее всего передает суть отношения к ним власти) был унижительно низок. Достаточно вспомнить о буквально нищенской в ту пору зарплате, установленной для самых массовых и, может быть, самых важных интеллигентских профессий – учителей и врачей.

Что же касается обмена плодами размышлений, то здесь надзор по своей строгости (используя язык эпохи, по “бдительности”) сравним лишь с контролем над самыми опасными видами уголовной преступности. Советская интеллигенция постоянно находилась под пристальным опасливо-недоброжелательным наблюдением власти, причем главным исполнителем этой функции были карательные органы. Самые естественные проявления интеллигентского сознания и образа жизни – критическая и скептическая реакция на социальную действительность, потребность публично высказываться и обмениваться мнениями по острым вопросам, склонность к созданию неформальных групп для обсуждения общественно важных проблем – расценивались, преследовались и карались как тяжелейшие преступления.

В качестве дополнительного способа манипулирования интеллигентами использовалась в то время еще столь распространенная в интеллигентной среде *установка на жертвенную самоотверженность во имя светлого будущего, во имя народа*. Ведь российская интеллигенция традиционно была единственной группой, члены которой в массе своей были способны ради идеи поступиться собственной выгодой, подняться над личными и групповыми интересами. И эти ее альтруистские черты цинично эксплуатировались властями, когда им требовалось получить эффективную отдачу от ее творческого и трудового потенциала. Сознание приносимой пользы (к сожалению, очень часто иллюзорное) согревало интеллигентскую душу, давая ощущение не напрасно проживаемой жизни. А деятели режима с холодной расчетливостью на этом спекулировали. Один из горьких парадоксов положения интеллигенции в том и состоял, что она, будучи лишена возможности проявить себя в каких-либо иных сферах, устремлялась на единственный сохранившийся для нее открытым путь – в ущелья узкопрофессиональной деятельности – и подчас добивалась на этом поприще значительных успехов.

Ведь научно-технические основы могущества режима (особенно в военной сфере, но не только) были созданы главным образом интеллигентами. В некоторых случаях плоды их труда в конечном счете все-таки шли на пользу традиционному объекту их помыслов – народу, в других – объективно приносили ему вред. Но режим выигрывал в любом случае.

Ну а сама интеллигенция влачила существование, совершенно не соответствовавшее ни ее объективной значимости, ни даже ее социальному статусу в царской России. Исключение делалось лишь для тех групп, которые режим по тем или иным соображениям считал нужным подкармливать особо. Ценность интеллигента определялась только одним: служил ли он, и если “да”, то насколько он был полезен “делу революции и пролетариата” (идеологическая зашифровка собственных интересов режима и элиты, причем подобный цинично-утилитарный подход провозглашался тогда с поразительной откровенностью, безо всякого камуфляжа, к которому мы привыкли впоследствии).

Но даже ограничение интеллигентской жизнедеятельности замкнутыми профессиональными расселинами не гарантировало ей физической безопасности. В периоды прилива репрессий их волны вымывали интеллигентов и оттуда. Конечно, подобное противоестественное положение не могло не повлечь за собой серьезных деформаций в интеллигентском самосознании. И с начала 1930-х гг. появились и начали интенсивно развиваться симптомы упадка и даже вырождения нравственных ценностей интеллигенции, произошел ее психологический надлом.

Тем не менее, несмотря на явное снижение качества интеллигентской “породы”, ее этика и характер поведения даже в годы самых широких и свирепых репрессий определялись отнюдь не только задачами выживания, физического самосохранения, не одними шкурными и узкопрофессиональными интересами. Не переставали в общем действовать нравственные запреты на доноительство, делание карьеры на чужой беде, на отказ от посильной помощи преследуемым. Конечно, здесь не следует впадать в идеализацию: эти нравственные установки нередко нарушались по мотивам страха, а порой и личной выгоды. К тому же, как известно, интеллигенты бывают весьма изобретательны в самооправдании. Но нарушители табу встречаются всегда и везде. И до тех пор, пока они подвергаются какой-либо из форм остракизма или хотя бы просто сталкиваются с явно выраженным неодобрением со стороны членов своей референтной группы, их действия не влекут за собой общей эрозии норм. Так в те времена было и в интеллигентской среде.

Более того. Ни девальвация интеллигентских моральных ценностей, ни антиинтеллигентская кадровая и идеологическая политика, ни репрессии не смогли парализовать очень важной традиционной общественной функции интеллигенции. Я имею в виду сбережение в условиях “ледникового периода” той совокупности культурных навыков и ценностей, которая служит необходимой предпосылкой выживания самой культуры. Если наше общество и не деградировало до уровня необратимого духовного оскудения и одичания, то лишь благодаря этим полуподпольным хранителям головешек от растоптанных революцией интеллигентских костров.

Церковь на коленях. Несколько слов о месте и положении церкви. Как уже говорилось, она была “уволена” с государственной службы новой властью, поскольку та располагала собственными идеологической доктриной, символами веры и механизмами идеологического принуждения. По существу, православие впервые за долгие века фактического духовного монополизма не только лишилось поддержки светской власти, но и оказалось перед лицом сильного, консолидированного противника внутри страны. Для церкви настал час действительного испытания жизнестойкости: для клира – необходимости отстаивать свое идейное знамя перед лицом идеологии агрессивно атеистической власти, для паствы – необходимости поддержать церковь в нелегкое время, проявить готовность пострадать “за святую веру отцов”. И нужно прямо и с горечью констатировать: этого испытания ни церковь, ни православные миряне в целом не выдержали.

У церкви не нашлось внутренних ресурсов для духовного противостояния воинствующему безбожничеству, а “народ-богоносец” не поддержал православие в трудный час. Когда оно утратило статус государственной религии, да еще и оказалось, что открытая верность ему может привести к некоторым житейским затруднениям, произошло поразительное по масштабам и скорости отпадение от него основной массы населения.

Кстати, СССР в этом отношении печальным образом отличается от других восточноевропейских стран. Там тоже после прихода коммунистов к власти по советским рецептам начались гонения на церковь и верующих. Однако они натолкнулись на стойкое противодействие вплоть до готовности к самопожертвованию и довольно быстро сошли на нет, уступив место модусу некоего сосуществования в разных вариантах.

Теперь из разных источников (см. [Поспеловский, 1995; Крестный... 1988; Коммунизм... 1997; Яковлев, 1995]) мы немало знаем как о гигантских масштабах антицерковных репрессий, о жестоких, порой садистских расправах со священнослужителями.

телями, монахами, просто верующими мирянами, о грабежах церквей и монастырей советскими правительственными службами и отрядами, так и о многих актах героического сопротивления государственному бандитизму. Однако самым трагичным во всем этом была практически безучастная позиция основной массы населения, пассивно наблюдавшей за разгромом и надругательством над якобы едва ли не извечными основами его мировоззрения. Конечно, нельзя забывать о пассивном сочувствии гонимой церкви довольно значительной части населения, а также об отдельных попытках паствы как-то ей помочь или даже за нее заступиться. Вместе с тем следует признать, что в кампании травли церкви участвовали сотни тысяч людей. В большинстве своем “от веку православный народ”. И антицерковные активисты оказались несравненно более мощной и организованной группой (даже отвлекаясь от факта их поддержки государством), чем их оппоненты.

Победоносная война против крестьянства. Обсудим теперь судьбу класса, составлявшего в стране абсолютное большинство, – крестьянства. Не будем касаться “черного передела” и разгрома помещичьих усадеб в 1917 г., террора продразверстки и прокатившихся в ответ на него массовых крестьянских восстаний. Начнем с 1921 г., когда практически прекратив производство товарной сельхозпродукции вследствие полной утраты стимулов, деревня фактически “взяла власть за горло” и вынудила ее отступить от политики военного коммунизма, что стало решающим фактором в принятии знаменитого решения XI съезда ВКП(б) о переходе к продналогу и нэпу.

Новые правила хозяйственного поведения в определенных пределах поддерживали предприимчивость, трудолюбие, способствовали повышению личного жизненного уровня. Новые же хозяева страны поначалу в чем-то даже казались лучше прежних: они устранили некоторые несправедливости прежнего времени и к тому же импонировали крестьянской массе своей социальной близостью и понятной фразеологией. Правда, забирали они в форме обязательных поставок, налогов и т.д. немалую долю крестьянского труда, но к этому крестьянам было не привыкать: раньше случались хозяева и покруче и отбирали порой поболее.

Главное, что такая полусвободная жизнь не препятствовала естественным процессам социальной дифференциации, при которой более способные и трудолюбивые постепенно добиваются большего благополучия. Все это довольно быстро сказалось и на товарном рынке, способствовало прекращению голода, разрухи, постепенному подъему общего уровня жизни после его катастрофического падения в годы революции. Соответственно, и государство стало получать в свое распоряжение значительно больше средств. Словом, посредством более или менее нормального хозяйственного развития произошло то, чего тщетно пытались добиться комиссары в кожанках и с маузерами.

Но идиллия продолжалась недолго. Новая власть (как, впрочем, по большей части и прежняя) не могла ужиться даже с относительно не зависимым от нее классом. Управление с помощью механизмов косвенного регулирования не соответствовало ни российским политическим традициям, ни тем более характеру и духу нового режима. Не за то боролись большевики, чтобы выпустить из-под своего контроля жизнь большей части общества, отдав ее во власть “мелкобуржуазной стихии”. Ведь при этом, с одной стороны, режим должен был бы в значительной мере отказаться от применения тех инструментов и способов управления, которые составляли главный источник его силы (жесткое прямое регулирование при помощи административных, военных и идеологических рычагов), а с другой – деревенское население приобрело бы относительную независимость от власти. А любое подобное самоограничение, с точки зрения автократии, ослабляет власть и потому неприемлемо.

Социально-экономическая ситуация в городе (неспособность власти принять эффективные меры по восстановлению развалившейся в революцию промышленности, по организации производства нужных населению промышленных товаров, по обеспечению людей работой) тоже подталкивала режим в сторону крайних мер. Перемирие власти с крестьянством оказалось непродолжительным. Очень скоро стали угадываться

“кануны” – предвестники рокового поворота событий. Власть все более бесцеремонно вмешивалась в хозяйственную жизнь деревни и усиливала пресс налогов, поборов и всевозможных обложений. Причем доминирующая доля тягот возлагалась на плечи станового хребта деревни – эффективно работающих и потому сравнительно зажиточных крестьян. Шло откровенное заигрывание с “голытьбой”, с “деревенским пролетариатом”, то есть с теми, кто даже в условиях значительной государственной поддержки не смогли успешно хозяйствовать и выбиться из бедняцкого прозябания. Но и это было лишь прелюдией к последующему тотальному разгрому и разграблению деревни.

Экономическая же подоплека событий такова: поскольку власть не могла предложить крестьянам в обмен на их хлеб достаточное количество промышленных товаров, нужно было либо срочно обеспечить их производство, либо отнять хлеб. И после внутрипартийной дискуссии, в ходе которой сторонники умеренного, основанного на нормальных экономических предпосылках, курса оказались задавлены сталинистами, в 1929 г. было принято однозначное решение. Вместо развития партнерских отношений с крестьянством была избрана стратегия его ограбления и закабаления под лозунгами “сплошной коллективизации” и “уничтожения кулачества как класса”.

И страна почти не заметила (еще один из страшнейших парадоксов сталинского времени), какая жуткая вивисекция была произведена на ее теле. О подлинном смысле, масштабах трагедии, ее ближайших и отдаленных последствиях долгое время практически никто не догадывался. Да и о самих событиях, помимо их крайне куцей официальной версии, мало кто знал (во всяком случае в городах). Лишь постепенно правда о судьбе этого “бесписьменного народа” (выражение А. Солженицына) начала просачиваться наружу. Даже число жертв коллективизации до самого конца существования СССР оставалось тайной. Да и существуют ли прямые данные? Кто мог быть заинтересован в подобного рода учете? Даже сейчас в дискуссиях о голодоморе фигурируют цифры с почти четырехкратным масштабом разброса – от 3 до 11 млн!

С точки зрения нормальной политической экономии насильственная массовая коллективизация была полным абсурдом. Вряд ли в европейской истории XIX–XX вв., то есть во времена, когда теории А. Смита и его последователей стали неотъемлемой частью сознания образованных людей, можно найти аналогичный пример столь явного пренебрежения законами экономического развития при принятии политического решения.

Экономический детерминизм, на словах провозглашавшийся большевиками, был заменен политикой некомпетентного административного диктата, произвола и террора по отношению к целому классу производителей. По существу, власти провели наступательную кампанию по завоеванию деревни со всеми соответствующими атрибутами – применением военной силы, грабительскими контрибуциями, опустошением целых областей, массовыми депортациями населения, передачей населенных пунктов под управление присланных комендантов с чрезвычайными полномочиями, опорой на коллаборационистов из числа “покоренного” населения, создание “пятой колонны” и марионеточных органов самоуправления, идейным разложением и деморализацией “противника” и т.п. Пожалуй, бухаринская формулировка “военно-феодалная эксплуатация крестьянства” достаточно точно передает суть этой кампании, закончившейся полной победой. Именно так ее стратеги и проводники воспринимали происходившие в деревне события. Не случайно проведенному в 1934 г. XVII партийному съезду – первому после завершения коллективизации – было дано название “съезда победителей”.

Обратимся к факторам, обеспечившим режиму явный перевес сил в борьбе против составившего абсолютное большинство населения класса кормильцев. Здесь, пожалуй, на первое место следует поставить традиционный *стереотип покорности, повиновения сильной власти*. Этот фундаментальный стереотип русского национального сознания в наибольшей степени присущ крестьянству.

Значительную роль сыграло, разумеется, и *прямое принуждение*, а также реально осязаемая угроза его применения. Принуждение осуществлялось двумя взаимосвязан-

ными силами – военными частями НКВД, проводившими аресты, расстрелы, высылку в лагеря и на поселение “кулаков и подкулачников”, и корпусом 25-тысячников – направленных из города партийных эмиссаров с диктаторскими полномочиями, имевших право применять любые меры для достижения установленных “контрольных цифр” по раскулачиванию, коллективизации и изъятию продовольствия.

Сталин и его аппарат использовали в несколько модернизированном виде тот же механизм опоры на люмпенов, который был одним из основных политических факторов, обеспечивших победу режима в революционные годы. Тогда это была опора на деклассированные элементы и тех, кто считали себя несправедливо обиженными судьбой, теперь – опора на деревенских люмпенов-выдвиженцев, а также на “актив”. Режим видел в них главных проводников своего влияния и политики. Они же понимали, что их благополучие целиком зависит от готовности служить режиму изо всех сил, а потеря его поддержки чревата неминуемым крахом. Понимание своей зависимости, а также подсознательное ощущение собственной ущербности определяли их собачью преданность режиму, способность без колебаний, по первому зову выполнить любую грязную работу.

“Актив”, в отличие от выдвиженцев, состоял главным образом из тех крестьян, которые по-прежнему оставались органичной частью деревенской социальной структуры, но частью довольно специфичной. “Активизм” в советском понимании слова есть не что иное, как деятельное приспособленчество, активный конформизм, небескорыстная подчеркнутая демонстрация лояльности власти, готовность всячески перед ней выслуживаться. Обычно он присущ тем членам группы, которые, не преуспев на своем основном поприще, в данном случае – в сельском хозяйстве, стремятся взять реванш за счет псевдодеятельности в побочных сферах, прежде всего за счет показного рвения при выполнении указаний партийных и полицейских хозяев, то есть лиц, способных наказать и поощрить. Подобная активность обычно вознаграждается как хозяйскими подачками, так и присвоением толики отнимаемого у других. Сельским “активом” двигали еще зависть к преуспевшим соседям и пьянящее сознание безнаказанности. В поведении “активистов” играл, конечно, роль и *идеологический фактор* – вера в абстрактную справедливость совершаемого, которая поразительным образом усиливается, если совпадает с личной выгодой.

Кампания коллективизации оживила и проэксплуатировала традиционные стереотипы крестьянского сознания, в совокупности составлявшие *общинную этику*. Ведь в известной степени лозунги коллективизации об обобществлении и уравнивании отвечали еще далеко не отмершим извечным традициям крестьянской общины – “мира”. И традиции эти, принципиально не противоречащие экспансии деспотизма, во многом содействовали еще более жестокому закреплению российской деревни.

Наконец, назову такой фактор, как *массированная идеологическая кампания* социально-психологического принуждения и деморализации “классового врага”.

В качестве интегрирующего обстоятельства обратим внимание еще на один механизм, впрочем, использовавшийся не только в деревне. Политика власти, включая самые жесткие, репрессивные акции, осуществлялась руками выдвиженцев, то есть “социально близких” элементов. Тем самым создавалась иллюзия народовластия, что значительно повышало устойчивость политической системы. Н. Бухарин, уже на краю гибели, в своей последней опубликованной статье “Маршруты истории – мысли вслух”, говоря о тоталитарных режимах, прозрел зловещую сущность этого манипуляторского механизма [Бухарин, 1936].

Власть рабочих? И наконец, обратимся к рабочему классу. За исключением “нового класса” – элиты, послереволюционное развитие страны несло разным слоям населения гораздо больше зла, чем добра. Но, может быть, такой ценой было оплачено счастье “передовой части общества”? Ведь принято считать, что рабочий класс был гегемоном революции, что советские преобразования совершались прежде всего в его интересах. Но подобная конструкция, на мой взгляд, далека как от исторической справедливости, так и от исторической истины.

Претензии ее на справедливость перечеркиваются тем обстоятельством, что рабочие и перед революцией, и долгое время после нее составляли незначительную часть населения страны. По официальным данным, в 1913 г. в России их было около 3 млн, то есть всего 2% населения; за годы революции и гражданской войны их число сократилось более чем вдвое – даже в 1925 г. оно не доходило до двух третей предвоенного уровня и составляло всего 1,8 млн; лишь после десяти лет форсированной индустриализации к 1937 г. численность рабочих достигла 17,5 млн. Даже если считать рабочих вместе с членами их семей, то в 1928 г. они составляли 12,4%, а в 1939 г. – 33,5% населения (см. [Польша... 1975, с. 315, 316, 318]). И интересы этого явного меньшинства провозгласили высшим приоритетом, в жертву которому принесены интересы всех прочих!

Теперь об истинности лозунга о пролетарском государстве. Здесь, видимо, следует обратиться к внутренней структуре рабочего класса. Перед революцией его ядром были кадровые рабочие, хотя они и не составляли арифметического большинства. Однако мировая, а затем гражданская война, эпидемии, голод унесли большую их часть. Постепенное восстановление численности рабочих, а затем ее скачкообразный рост в годы индустриализации происходили главным образом за счет выходцев из деревни. В итоге кадровые рабочие стали составлять ничтожную часть класса. Большинство же образовалось из вчерашних крестьян, которые либо не нашли себе применения в деревне, либо бежали оттуда, спасаясь от коллективизации. Поэтому по своей культуре и психологии они были теми же люмпенами, только не нагло-агрессивными, как выдвиненцы, а неуверенными, запуганными, плохо ориентирующимися в новой жизненной обстановке и податливыми для любого внушения и давления.

Принято считать, что именно кадровые, потомственные пролетарии всегда оказывали большевистской партии наиболее твердую поддержку, видя в ней свое представительство. Но вспомним: в число кадровых рабочих входила значительная прослойка так называемой рабочей аристократии, то есть наиболее квалифицированных и высокооплачиваемых рабочих, по своему образу жизни и типу сознания сориентированных не столько на “братьев по классу”, сколько на средние слои городского населения. Они были более или менее удовлетворены своим материальным положением, заинтересованы в социальной стабильности и потому не могли стать последовательными сторонниками большевистского экстремизма. Теперь известно и о том упорном сопротивлении, которое значительная часть “рядовых” рабочих оказывала большевистской власти в первые годы после переворота.

Конечно, эта тема требует специального исследования. Но и имеющиеся данные ставят под сомнение концепцию рабочей власти. Разумеется, значительная часть рабочих активно поддерживала режим. Но если принять во внимание сказанное, возникает естественный вопрос: а не слишком ли узка социальная база режима, претендовавшего на роль народной власти? Не точнее ли назвать его *властью люмпенов*?

Таким образом, представляется, что миф о “народной власти”, использовавшийся для теоретического “освящения” политической практики террора, при более или менее структурированном взгляде не выдерживает никакой критики. Скорее, народ затравили “медные всадники”, опиравшиеся на худших его представителей, на извечную системоцентристскую традицию народной покорности судьбе, олицетворяемой властью, на готовность маршировать в колоннах по предписанным ему маршрутам.

В заключение обозначу еще несколько проблем, заслуживающих специальных исследований.

Общество, отравленное моральной легитимацией террора

Фундаментом могущества системы, несомненно, была машина террора, за период сталинизма перемоловшая десятки миллионов человеческих жизней. Почему *общество приняло террор* в качестве допустимой и оправданной формы управления собой, почему не возникало серьезных проблем с “подбором кадров” исполнителей, а сами

воспоминания о тех страшных временах до сих пор, в общем, не находят адекватного отклика в массовом сознании, а то и отторгаются им? Сохранилась ли социальная база для рецидивов сталинской опричнины?

С моей точки зрения, это объясняется тремя причинами. Во-первых, кровавый кошмар сталинщины отнюдь не был неким случайным эпизодом русской истории, а лишь продолжил автократические традиции периодических кампаний геноцида против собственного народа. Деяния и Ивана Грозного, и Петра I, и красный террор – лишь самые грандиозные по масштабам, но далеко не единственные примеры. Можно без труда назвать десятки менее масштабных кампаний, когда тысячи жизней подданных походя приносились в жертву или становились разменной монетой в политических играх.

Во-вторых, в процессе сталинского геноцида были почти подчистую вытравлены ростки молодой либерально-демократической традиции отношения к личности. Причем сплошная “химическая обработка почвы” в сталинский период стала лишь кульминационным актом по уничтожению этой традиции: серьезнейший урон она понесла на первых этапах становления режима.

В-третьих, поскольку в сталинские преступления были вовлечены по меньшей мере как пассивные соучастники либо свидетели миллионы людей, это самым пагубным образом сказалось на уровне общественной морали в целом. Ясно, что в пределах одного поколения моральная деградация необратима. Более того, людей, жизнь которых пришлось на период разгула сталинщины, можно с грустью назвать пожизненно *испуганным поколением*. Но сейчас, по прошествии более чем полувека, мы видим, что это зловещее прошлое не умерло. Все новые поколения в своей немалой части предпочитают оставаться в полумраке зловещей тени, которую отбросило в будущее сталинское время, не поддерживая попыток перебраться на новую историческую колею. Увы, перспективы исчезновения “штампа” сталинщины выглядят сегодня весьма проблематично.

Рассматривая феномен сталинизма, можно многого не понять, если строить анализ лишь на таких категориях, как “палачи”, “жертвы” и “запуганные”. Значительной части современников и участников событий (не берусь давать количественные оценки) картина представлялась окрашенной в иные тона. Многие верили в разумность и справедливость происходящего, в то, что режим действительно создает условия для новой, небывало прекрасной жизни, которая уже совсем рядом, за ближайшим историческим поворотом. Скорейшему же его наступлению мешают всевозможные враги и реакционеры, против которых в силу их особой опасности допустимы любые средства борьбы. И они, выполняя преступные приказы, надрываясь на непосильной работе, вкладывая все силы в укрепление античеловеческого режима, рапортуя вождо о выполнении и перевыполнении его указаний, маршируя в приветственных колоннах, не только не сознавали, что служат марионетками в чудовищных манипуляциях миллионами человеческих судеб, а искренне верили, что действуют для пользы общества. Когда же разум и совесть отказывались принять особенно страшные и несправедливые акции режима, на помощь приходила спасительная, парализующая ум и волю, формула о лесе и щепках. Подобную массовую аберрацию психики можно попытаться объяснить, опираясь на два вида социально-психологических механизмов.

Во-первых, это защитные механизмы, именуемые замещением и рационализацией. Суть их в том, что сознание склонно вытеснять неприемлемую для него информацию о мире и заменять ее пусть ложными, но приемлемыми представлениями. Трудно жить, понимая, что служишь орудием преступной власти. Поэтому человек с готовностью идет на самообман, изобретая либо позволяя внушить себе любой миф, который приукрашивает власть и ее цели. Словом, *люди по большей части предпочитают верить в то, во что им удобно верить*. А это тем более легко, когда удобные версии буквально навязываются машиной идеологической пропаганды.

Тут вступают в действие механизмы суггестии и контрсуггестии (внушения и психологического сопротивления ему). В советских условиях суггестия была особен-

но эффективной, так как отсутствие традиций свободы печати и слова и, напротив, традиция признания высшей авторитетности высказываний, прямо или косвенно исходивших от власти, делали массовое сознание абсолютно не защищенным от напора официальной пропаганды. И потому о подданных сталинской империи следует говорить и как об обманутом поколении.

Еще один психологический аспект этой проблемы состоит в крайне болезненной для многих потере объекта психологической символизации, самоидентификации. Многие идентифицировали себя именно как “советских людей”, что имело определенные основания. (Лично я не имею каких-либо оснований жалеть об утрате этой дурной формы идентичности, но для многих людей, проживших большую часть жизни с сознанием принадлежности к ней, это стало тяжелым ударом.) В конце концов, большинство людей не виноваты, что их кумиры на поверку оказались людоедами и монстрами. Даже в посленацистской Германии, где разоблачение предыдущего государства как преступного было одним из национальных приоритетов, социологические опросы долгое время фиксировали немалую долю ностальгии по прошедшему. У нас же в этом направлении было сделано неизмеримо меньше, а в последние годы мы наблюдаем и целенаправленные движения в прямо противоположном направлении по возрождению просталинской мифологии. Новая мутация гена сталинщины, подкармливаемая определенными силами, представляет серьезную угрозу для будущего нашей страны. Есть и еще один момент: демонстративное отнесение себя к “советским” в формах использования соответствующих атрибутов (маек, портретов, флагов), по-моему, отчасти представляет фрондерскую форму выражения неприятия настоящего с позиций идеализации прошлого.

Теперь несколько слов о феномене “муравьиного” героизма. Часто недоумевают: почему столь бесчеловечная система, как сталинизм, проявляла такую живучесть в кризисных обстоятельствах, не только не рассыпаясь (как рассчитывал, например, Гитлер), но, напротив, демонстрируя весьма высокую эффективность и волю к самосохранению? Почему вообще народ, попадая в экстремальные условия, зачастую по прямой вине своих властителей, не только не отказывал им в повиновении, но и поддерживал их еще самоотверженнее? Подобные вопросы с наибольшими основаниями можно адресовать к периодам индустриализации и войны. Но помимо перечисленных, есть еще один источник повышенной устойчивости режима. Господство в обществе антииндивидуалистского сознания, оценка человека лишь с точки зрения его полезности для коллектива создают почву для феномена “муравьиного” героизма. Я имею в виду довольно широко распространенную среди сталинских поколений советских людей готовность к нерассуждающему самопожертвованию ради коллективных целей. Этот феномен ярко проявлялся не только в военных условиях, но и в хозяйственной деятельности. Очень часто система в качестве главного своего ресурса эксплуатировала так называемый трудовой героизм, то есть работу людей, по своим условиям и интенсивности явно ненормальную, на износ, а то и на гибель.

Думается, что такого рода антиличностный героизм по своим моральным и психологическим стимулам существенно отличается от героизма личностного, проявляемого, например, в экстремальных обстоятельствах людьми персонцентристского склада. В этом случае принесение человеком себя в жертву (под жертвой в данном контексте понимается не только утрата жизни, но и значительные ущемления личных интересов) воспринимается и им самим, и социальным окружением как высочайший акт самоотречения. При этом цель, за которую платится такая цена, разумеется, тоже должна быть очень высокой, а сама жертва – оправданной и вынужденной. Словом, героический поступок совершается в обстоятельствах, действительно чрезвычайных, иным путем не разрешимых, и потому является актом исключительным.

В условиях же сталинщины принесение себя в жертву превратилось едва ли не в норму, в тот тип поведения, которого социальное окружение ожидает от человека в ситуациях хотя и трудных, но объективно далеко не всегда безвыходных и не требующих столь высокой платы. Впрочем, жертвы эти, в силу их социальной санкционирован-

ности и низкой цены человеческой жизни на социальной шкале, отнюдь не считались такими уж исключительными. (Уже в 1970-е гг. армейские политработники, ссылаясь на данные якобы “социологических опросов солдат”, хвастались, что во вверенных им частях 90% личного состава выразили готовность без раздумий повторить подвиг А. Матросова.)

Оставим на усмотрение читателя решать, какой из двух видов героизма выше в нравственном отношении. Но очевидно, что сталинскому режиму традиция “муравьиного” героизма сослужила немалую службу, позволяя ему без особых затруднений залатывать пробоины своего корабля человеческими жизнями, что вряд ли было бы возможно на основе героизма личностного.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бердяев Н.А.* Духи русской революции // Из глубины. Paris, 1967.
Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1973.
Большая советская энциклопедия. Т. 21. М., 1975.
Бухарин Н.И. Маршруты истории – мысли вслух // Известия ЦИК. 1936. 6 июня.
Коммунизм и народное сопротивление в России 1917–1991. М., 1997.
Крестный путь Церкви в России 1917–1987. М., 1988.
Оболонский А.В. Человек и власть: перекрестки российской истории. М., 2002.
Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. М., 1995.
Токвиль А. Старый порядок и революция. Пг., 1918.
Яковлев А.Н. По мощам и елей. М., 1995.

© А. Оболонский, 2010